

"писательских сцен" "Театрального романа" и "Мастера и Маргариты".

Здесь в подтексте уже присутствуют составляющие того мимического ответа, которого удостоится Иванушка после своего "с интересом" заданного вопроса — не писатель ли его ночной гость: "Гость потемнел лицом и погрозил Ивану кулаком..."

Разумеется, такое "потемнение лицом" сродни мандельштамовскому: "Какой я к черту писатель! Пойдите прочь, дураки!"

Этот отказ о профессии — знак высокого к ней уважения.

Вернемся, однако, к дому. Обретение жилища вызвало у занимающих нас жильцов чувства неодинаковые.

"Для М. А., — замечает Елена Сергеевна, — квартира — магического слова. Ничему на свете не завидует — квартире хорошей! Это какой-то пунктик у него".

В той "норме", о которой он мечтает в 1921 году ("квартира, одежда, книги"), квартире отведено 1-е место. Исполнение оттягивается надолго. Поэтому жилплощадь в Нащокинском представляется как земля обетованная: убежище и пристанище.

Упорядоченность жизни — это та единственно разумная ее форма, с помощью которой можно оградить себя от мирового хаоса: "Молю Бога о том, чтобы дом стоял нерушимо".

"Встретил Булгакова, — записывает 20 февраля 1934 года букинист Э. Ф. Циппельзон. — На вопрос, что он сейчас ищет (из книг), отвечает: "Больше всего я ищу сейчас газ для ванны".

Ответ совершенно булгаковский. Устроение быта не менее важно, чем духовное устройство: 1-е как бы является условием 2-го. "Стихиям", "метелям" и т. д. может противостоять только Дом. Источник творчества — не энтропия, а упорядочение. И если "закусывать надо в сумерки на старом, потертом диване среди старых и верных вещей" (письмо к Н. С. Попову), то творить тем более следует при наличии всех этих условий и же-

латься барином. "Нет, Булгаков сам изгой", — пыталась разуверить его та, кто лучше всех определила главную булгаковскую черту: "великолепное презрение". Когда Мандельштам, узнав, что гостившая у него Ахматова приглашена на вечер к Булгаковым, "бегал по комнате и кричал: "Как оторвать Ахматову от МХАТа", он не просто наслаждался удачным каламбуром, но и формулировал серьезную методологическую проблему.

Меньше всего, по-видимому, Мандельштам волновало то обстоятельство, что подруга его поэтической молодости обольстится булгаковским застольем. Претензии были гораздо существенней: "Вас хотят сводить с московской литературой".

Для Мандельштама, помнящего о своем с Ахматовой духовном первородстве, "московская литература" — это "осетрина второй свежести". Она вынесена за границы того культурного ареала, в котором пребывает он сам. Респектабельный круг Булгакова, с которым не соприкасается никто из ближайших друзей Мандельштама, кроме Ахматовой, не вызывает у "бывшего", по понятиям этого круга, поэта ни малейших симпатий.

Но и Булгаков, на вопрос Циппельзона, хоронил ли он Багрицкого, высокомерно ответил: "А кто такой Багрицкий?", — в упор не желая видеть всех преимуществ "московской литературы".

Между тем театр в Камергерском — помимо прочего, еще и правительственный театр. Для нонконформиста Мандельштама это все та же "московская литература" — сервильная и пребывающая в опасной близости к власти. Автору "Четвертой прозы" трудно соотносить собственное видимое невооруженным глазом изгойство со скрытым от широкой публики одиночеством соседа.

"Вечером у нас Ахматова, — записывает Елена Сергеевна 10 октября 1933 года (то есть еще на старой квартире — на Большой Пироговской). — ...Чтение романа Ахматова весь вечер молчала, — может, добавим мы, отчасти утраченного ламентациями Манде-

лы поэта). Но и соседский оазис, "островок безопасности", с великими стараниями созданный (где ужина 38-го года порой действительно напоминают пир во время чумы), — столь же ненадежен и эфемерен. Несмотря на разницу состояний, обитатели этих квартир уравниваются общей несвободой.

В феврале 1934 года Мандельштам говорит Ахматовой: "Я к смерти готов". 30 октября того же года Булгаков записывает в черновиках романа: "Дописать прежде, чем умереть!" Смерть осознается как реальная перспектива... Булгаков переживает Мандельштама на год с небольшим.

Ты пил вино, ты как никто шутил
И в душные стены задыхался...

Ахматова, посещавшая оба дома, именует булгаковские стены "душными".

Поэтам — виднее.

ВЕЧНАЯ НОЧНАЯ ТЕМА

Когда был арестован Мандельштам? До последнего времени этот вопрос не вызывал разногласий. И Надежда Яковлевна, и Ахматова указывают (причем неоднократно) точную дату — ночь с 13 на 14 мая 1934 года.

Из недавно опубликованных документов следует, что арест произошел 17-го. Ордер подписан Я. Аграновым (а не Г. Ягодой, как полагала Ахматова) 16 мая. (Мандельштам был освобожден из ссылки 16 мая 1937 г. — ровно через 3 года после официальной даты ареста, с которой исчислялся срок).

17 мая Булгаковы заполняют анкеты для поездки за границу. Новенькие красные паспорта им должны выдать на следующий день. Автор "Бега", обнадуженный тем, что сбывается мечта его жизни, "все повторял ликующее": "Значит, я не узник! Значит, увижу свет!"

О "покое" пока нет речи. Он думает, что заслужил свет.

В эти же часы "узником" — в буквальном смысле слова — становится Мандельштам.

"Это — вечная ночная тема: "Я арестант... Меня искусственно ослепили..." — продолжа-

БОРИС ПАСТЕРНАК И АПОСТОЛ ПЕТР

17 ноября (за 2 недели до убийства Кирова) приехавшая из Ленинграда Ахматова посещает Булгаковых. "Рассказывала о горькой участи Мандельштама. Говорили о Пастернаке", — лаконично записывает Елена Сергеевна. О чем же могла рассказать Ахматова?

Участь поэта остается "горькой" и после вроде бы подслащенной ее высочайшей милости. Очевидно, имеется в виду не только сам факт пребывания поэта в Воронеже, но и постигший его недуг, о котором Булгаков, еще не оправившийся от своих летних фобий (и полгода не рисковавший один выходить на улицу), должен был слушать с напряженным интересом... Размышляя о диалоге Сталина с Пастернаком, Булгаков помимо прочего не мог не отметить настойчивое вопрошание звонившего относительно степени дружеской близости обоих поэтов. "Если б мой друг-поэт попал в беду, я бы лез на стену, чтобы его спасти". Человек, который вскоре безжалостно уничтожит едва ли не всех своих бывших друзей, давал Пастернаку урок корпоративной этики. Когда в феврале 1938 года Булгаков писал свое безответное (и последнее в его сталинской эпистолярной послание вождем — о возвращении из ссылки Николая Эрдмана ("Уверенный в том, что литературные дарования чрезвычайно ценны в нашем отечестве... я позволяю себе просить Вас обратить внимание на его судьбу"), он рассчитывал опереться на оба известных тезиса — как о "дружбе", так и о "мастерстве".

И Ахматова, и Н. Я. Мандельштам считали, что удостоенный высочайшей беседы Пастернак "вел себя на крепкую четверку".

Что помешало им вывести высший балл? "Но ведь он ваш друг?" — спросил Сталин. Пастернак замялся, а Сталин после недолгой паузы продолжил вопрос: "Но ведь он же мастер, мастер?" Пастернак заметил: "Это не имеет значения".

Так говорит Ахматова. По словам Надеж-

МАНДЕЛЬШТАМ

дательно — при свечах. Булгаков, наверно, мог бы согласиться со словами Пастернака, обращенными к Мандельштаму: "Ну вот, теперь и квартира есть — можно писать стихи".

"Ты слышала, что он сказал? — О. М. был ярости..." — так, по свидетельству Надежды Яковлевны, выглядела реакция новосела. "Квартира тиха как бумага — Пустая, без всяких затей, — И слышно, как булькает влага По трубам внутри батарей".

Неожиданное уподобие квартиры "тихому" бумажному листу — ответ на обозначенную Пастернаком идиллию. Это, так сказать, "прият спокойствия, трудов и вдохновения" — в худшем московском варианте. "А стены проклятых", к стенам приложено еще одно определение — "халтурные". Оба эпитета перевертывают "формулу дома": крепость оказывается не твердыней по отношению к внешнему миру (каковой ей надлежит быть), а всего лишь местом предварительного заключения. Ордер на квартиру уравнивается с ордером на арест. "Московское злое жильё" ненадежно по той же причине, по какой ненадежно и жильё ленинградское, огражденное "кандалами цепочек дверных".

Хозяин квартиры № 44 демонстративно не замечает угрозы. Он живет так, как будто с ним-то уже ничего не может случиться. Булгаковское жильё в Нащокинском — своего рода экологическая ниша в отравляемой всяческими миазмами Москве. Ее духу и тону соответствует "старинная мебель, уютные настольные лампы, раскрытый роуль с "Фаустом" на пюпитре, цветы" (В. Виленкин).

Конечно, образ жизни семьи Булгаковых — с домработницей, бонной для Сержи Шиловского, приметами театральной богемы (например, поздними ужинами: недаром Булгаков говаривал, что у них лучший трактир в Москве) — должен был представляться Мандельштаму вполне буржуазным. При условии, что они вообще интересовались такими вещами — в той мере, в какой интересуются ими некоторые нынешние любители изящной словесности, для которых включение Еленой Сергеевной в ответственное меню икры, лосося и прочих деликатесов служит бесспорным доказательством несостоятельности мифа о якобы гонимом драматурге.

(Окончательное подтверждение своим подозрениям эти пронизательные читатели находят в таком вопиющем факте, как приглашение на дом парикмахерши или портнихи).

Между тем автор "Дней Турбиных" поддерживает "норму" по соображениям сугубо принципиальным — нередко ценою крайних усилий. Автоматизмом налаженной жизни он пытается оторочить ее гибельный смысл.

"Ты так сурово жил..." — скажет Ахматова. В глазах автора "Камя" преуспевающий внешне драматург Булгаков, чья (правда, единственная) пьеса почти не сходила с афиши МХАТа, мог в социальном плане представ-

лять барина. (Через 10 лет в Ташкенте, читая машинопись романа Раневской, Ахматова будет повторять: "Файна, ведь это гениально, он гений!")

В следующий раз Ахматова появится у Булгаковых уже в Нащокинском — и при обстоятельствах драматических.

"Приходила я в Нащокинский так часто, как могла, — в свободное от работы время, — вспоминает Эмма Герштейн о первых днях после ареста Мандельштама. — На лестнице была слезка. Постоянно полукругом двери квартир: то домработница с кем-то беседует, то какая-нибудь парочка любезничает".

Следствие пыталось выяснить — какие конкретные лица скрываются за грозно-таинственным "мы". Все это весьма похоже на обстановку вокруг "нехорошей квартиры" в доме № 302-бис, когда голая, но невидимая для глаз Маргарита вместе с невидимым же Азазелло направляется на "бал полнолуния" — в бывшую квартиру ювелирши. Одинаковые люди в одинаковых кепках и высоких сапогах, скачущие в подворотне и на лестнице и застигнутые неизвестно чьими шагами, выказывают сильнейшее спокойствие. Что, впрочем, и понятно: служба наружного наблюдения против нечистой силы не обучена.

"...В писательском доме, — продолжает Э. Герштейн, — заговорили про Мандельштамов: "У них собирались". Хуже обвинения быть не могло". Собирались и у Булгакова, который знал "своих" соглядаев не хуже, чем Мандельштам "своих". Поэт требовал, чтобы таким гостям немедленно подавали чаю ("человек работает — нужно чаю"). Булгаков, догадываясь, что его посетителю сегодня же надо "являться", намеренно задерживал гостя до 11-ти, повергая его в мучительное беспокойство. "Наше домашнее ГПУ", — приводит Елена Сергеевна прозвище неразлучного с иностранцами барона Штейгера, который станет вскоре бароном Майгелем "Мастера и Маргариты". Эти волнующие и небезопасные игры были маленькой компенсацией за большое унижение.

С годами дом в Нащокинском теряет свою притягательную власть, ибо в неотдаленной дали возникает обиталище высшего ранга — то, которое в "Мастере и Маргарите" будет наречено "Домом Драмлита". Недаром Пастернак говорит о литераторах Нащокинских как о живущих "скромно и трудно" — не в пример "блестящим жителям" Лаврушинского переулка.

Мечта Булгакова — переселиться в Лаврушинский — так никогда и не осуществится. Зато Мандельштам, изгнанные из собственного жилища, проведут свои последние московские ночи в доме, чей фасад "выложен черным мрамором", — у гостеприимных Шкловских.

Квартира Мандельштама — это бивак, переселка, жилище временное и непрочное. Она не может смягчить его принципиальной бездомности (которая найдет свое завершение в отсутствии "полагающейся по чину" моги-

лы свою запись Елена Сергеевна.

"Вечная тема" оказалась отнюдь не исчерпанной: ни 22, ни 25 мая паспорта выданы не были. 28 мая к Булгаковым заходит Ахматова: "приехала хлопотать за Осипа Мандельштама — он в ссылке". Отметим это в дневнике, автор умалчивает о том, о чем рассказала позднее сама Ахматова: "Елена Сергеевна Булгакова заплакала и сунула мне в руку все содержимое своей сумочки".

Знают ли в это время Булгаковы о причинах ареста Мандельштама? Скорее всего нет, так как непосредственно после записи о его ссылке глухо упоминается "какая-то история, при которой Мандельштам ударил по лицу Алексея Толстого". По-видимому, арест соседа ставится в связь с этим ленинградским скандалом. Соотносит ли Булгаков собственную судьбу с судьбой сослannого поэта, свое метафорическое "арестанство" с его — незапным и натуральным? Случайно ли оба забывают в эти дни весьма похожей болезнью? "У М. А. очень плохое состояние — опять страх смерти, одиночества, пространства", — такие записи возникают в дневнике Елены Сергеевны неоднократно.

Аналогичные симптомы переживает в Чердыни и Мандельштам.

Острый приступ нервной болезни разрешится попыткой выбраться из окна.

Надежда Яковлевна шлет телеграмму Бухарину. Сталин звонит Пастернаку: судьба Мандельштама изменена. Решение ОСО о пересмотре дела датировано 10 июня. Надежда Яковлевна "смело отправляла телеграммы в Москву — в ЦК, в ГПУ, Сталину, — пишет Э. Герштейн. — Поэта довели до сумасшествия... это государственное преступление: поэт отправлен в ссылку в состоянии безумия", — вопила Надя по телефону. Когда Мандельштаму заменили Чердынь Воронеж — и мы обсуждали, кто добился этого, — Ахматова ли, ходатайствовавшая перед Енукидзе, или Бухарин, написавший Сталину: "Поэты всегда правы, история за них", или Пастернак, которому, как теперь широко известно, звонил по поводу Мандельштама Сталин, — я полуслуша, полусерьезно говорила: "Это вы, Надя, вас испугал сам Сталин".

10 или 11 июля Булгаков (знает ли он о звонке?) обращается к Сталину — своему давнему (1930 года) собеседнику с очередным письмом. "Ответа, конечно, не было", — меланхолически записывает Елена Сергеевна.

Все эти события совершаются на протяжении примерно одного месяца (в июне-июле). Вторую половину лета и Булгаков, и Мандельштам пытаются избавиться от своих недугов: Булгаков — с помощью целительного электричества, Мандельштам — посещая психиатра в Воронеже.

В августе с неслыханной помпой проходит I съезд советских писателей. "Михаил Афанасьевич, почему вы на съезде не бывали?" — осведомляется у коллеги драматург Афиногенов. "Я толпы боюсь", — отвечает Булгаков. Страшнейший одиночества, "толпы" (тем более писательской "толпы"), он опасается еще больше.

ды Яковлевны, Пастернак заметил что-то по поводу слова "друг", желая уточнить характер отношений с О. М., которые в понятие дружбы, разумеется, не укладывались... Я не привожу единственной реплики Пастернака, которая, если его не знать, могла бы быть обращена против него. Между тем реплика эта вполне невинна, но в ней проскальзывает некоторая самопоглощенность и эгоцентризм Пастернака". Надо думать, именно эту фразу приводит в своих "Листках из дневника" Анна Ахматова: "Почему мы все говорим о Мандельштаме и Мандельштаме, я так давно хотел с вами поговорить".

Это было третье (пущай невольное) отвлечение Пастернака от предмета разговора. И тут приходит на ум одна аналогия.

Пастернак, словно евангельский Петр, только что с оружием в руках оборонявший Учителя от врагов ("и уху одному из них отсека"), трижды отрывается от того, кого он искренне пытался спасти. "И ты был с Иисусом Галилеянином" ("Но ведь он ваш друг?"). Пастернак "замялся". А на повторный вопрос ответил совершенно по-евангельски: "Это не имеет значения". То есть: "...Не знаю, что ты говоришь" (Мтф. XXVI, 69—70). Долгое время после этого разговора автор "Высокой болезни" не мог писать стихи. Только ли незавершенность беседы была причиной тому?

Но вернемся к другому разговору — о "горькой участи" пораженного недугом поэта.

"МНЕ СТРАШНО, МАРГО!"

(к истории болезни)

Именно в дни после визита Ахматовой в рукописи романа возникает новый сюжет: Мастер появляется в палате у Ивана и рассказывает ему, "как он стал скорбен главой и начал бояться толпы, которую, впрочем, и раньше терпеть не мог". Так впервые начинает звучать мотив сумасшествия Мастера: сюжет, кажется, настолько же автобиографичный, насколько и заимствованный.

Мысль о том, что образ Мастера может быть "приведен в связь с личностью и судьбой Мандельштама", впервые высказана Б. Гаспаровым в 1978 году. Исследователь указывал на возможность того, что Булгаков использовал факт психического расстройства сослannого в Чердынь поэта (не соотнося, правда, это указание с хронологией работы над романом, которая, как мы убедились, подтверждает подобную догадку). В последнее время у Мастера обнаруживаются все новые, порою весьма сомнительные прототипы. На фоне такого литературоведческого беспредела "мандельштамовская версия" заслуживает размышлений.

В наброске главы "Последний путь" (в тетради, которая велась в июле — октябре 1934 года) Воланд говорит Мастеру: "Я получил распоряжение относительно вас. Преблагоприятное". Если Булгаков знает подробности сталинского звонка Пастернаку, то ему известно и обещание вождя — "с ним все будет хорошо".